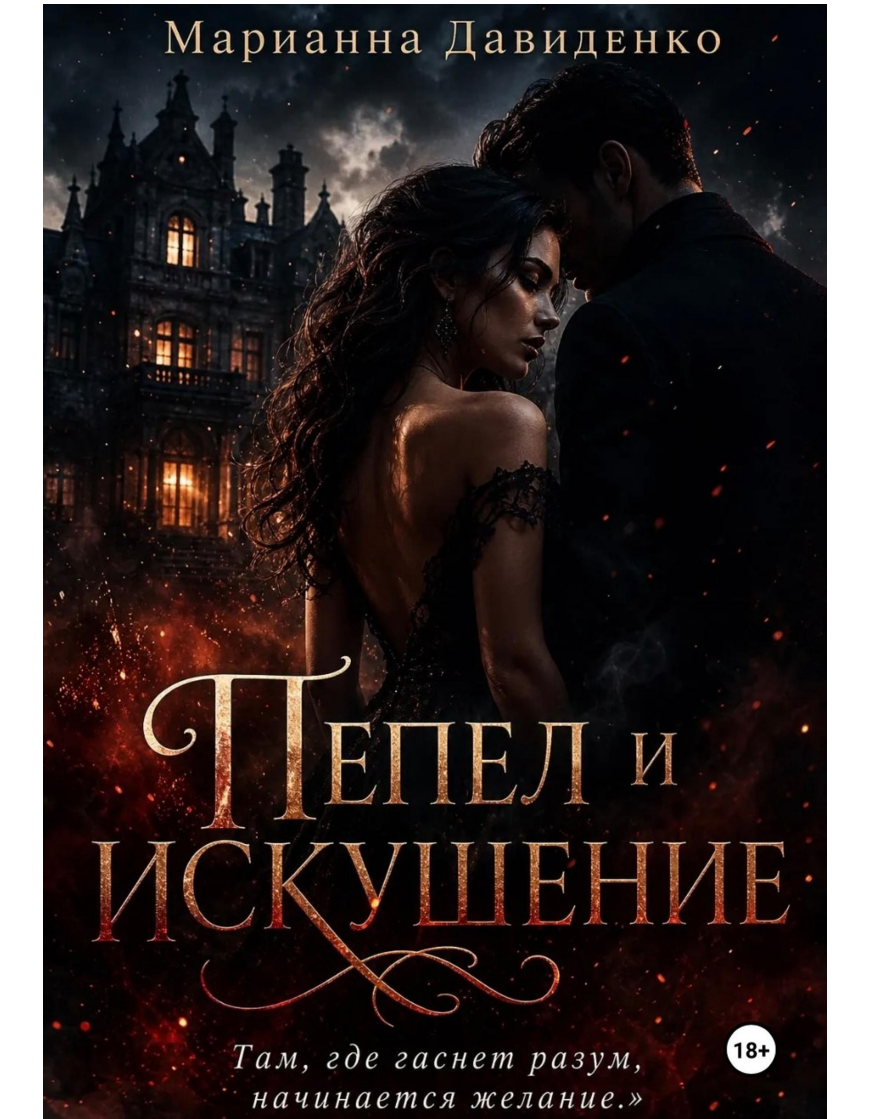


Марианна Давиденко



ТЕПЕЛ и ИСКУШЕНИЕ

*Там, где гаснет разум,
начинается желание.»*

18+

Марианна Давиденко

Пепел и искушение

<https://litres.ru/74638559>

SelfPub; 2026

Аннотация

Сначала это просто чёрный автомобиль у кампуса — слишком часто, чтобы быть совпадением. Потом — цветы без подписи и книга редкого издания, доставленная человеком, которого невозможно найти. Элиза Морвен пытается убедить себя, что за ней никто не следит, но вопросы множатся быстрее ответов: кто настолько точно знает её вкусы, расписание, любимых авторов? За вниманием, похожим на преследование, стоит Люциан Вейл — человек, привыкший получать желаемое любыми средствами, включая деньги, влияние и настойчивость, от которой невозможно скрыться. Но интерес к Элизе делает уязвимым и его самого: в теневом мире, которым он управляет, слабость такого рода не прощают. Дамиан Кроу уже ищет способ превратить эту одержимость в оружие против Люциана — и Элиза, сама того не зная, становится ставкой в чужой игре. Подарки без подписи — это забота, угроза или первый шаг к чему-то, от чего она не сможет отказаться?

Содержание

Глава 1 Мир между страниц	4
Глава 2 Взгляд из машины	24
Конец ознакомительного фрагмента.	48

Марианна Давиденко

Пепел и искушение

Глава 1 Мир между страниц

Утро в квартире Морвенов пахнет кофе, старой бумагой и чуть-чуть апельсиновой коркой, которую мать по привычке кладёт в сахарницу. Элиза идёт на кухню босиком, обходя стопку книг у двери, как обходят мебель в собственном доме, не глядя: «Записки о Шекспире», два тома Гиббона и растрёпанный Диккенс, купленный когда-то на развале в Блумсбери за фунт двадцать. В этой квартире книги не стоят, а живут. Они переселяются с полок на подоконники, с подоконников на стулья, со стульев на пол, и никто в семье не считает это беспорядком. Беспорядок — это когда книгу некуда положить.

На столе уже накрыто: три кружки, масло в фарфоровой розетке с отбитым краешком, тосты, которые отец неизменно пережаривает и неизменно называет «удавшимися». Лондонское утро за окном серое, мягкое, словно кто-то накинул на город шерстяной плед, и от этой серости в кухне только уютнее.

— Доброе утро, дитя моё, — говорит отец, не поднимая глаз от газеты. — Ты знаешь, что сегодня подходящий день,

чтобы вспомнить Байрона?

— Папа, у тебя каждый день подходящий.

— И каждый день я прав. — Он отставляет газету, берёт кружку двумя руками, как берут что-то хрупкое, и производит нараспев, с тем самым профессорским придыханием, от которого у первокурсников начинают блестеть глаза: — «Она идёт во всей красе, светла, как ночь её страны». Вот, пожалуйста. Идеальная строчка. За сто лет никто не придумал лучше, а пробовали многие.

— За двести, — не отрываясь от бумаг, поправляет мать.

— За двести. Тем хуже для них.

Мать сидит на своём краю стола, в халате поверх блузки, и поправляет очки указательным пальцем — жест, который Элиза знает с младенчества лучше, чем собственное отражение. Перед матерью свежая распечатка статьи, поля исчерчены карандашом, и по тому, как часто карандаш замирает в воздухе, ясно: третий абзац опять не хочет складываться.

— «Светла, как ночь», — бормочет мать. — Рецензент из Эдинбурга написал бы, что это оксюморон, и был бы скучен, как ноябрьский вторник.

Элиза намазывает тост маслом и слушает их вполуха, с тем особым удовольствием, с каким слушают музыку, знакомую до последней ноты. Ей двадцать один, она единственный и поздний ребёнок двух профессоров литературы, и вся её жизнь укладывается в тихий, выверенный ритм: лекции, библиотека, книжный на углу, чай в четыре, разговор о том,

был ли Китс сентиментален или просто честен. Иногда ей кажется, что она живёт внутри романа Остин: комнаты, письма, разговоры, приличия, неспешность. В таких романах ничего не происходит целых двести страниц, и вдруг одна фраза, сказанная не тем тоном, переворачивает всё.

Вот этого она и ждёт. Не приключений, нет. Ждёт, что однажды кто-то войдёт в комнату, посмотрит на неё дольше, чем требует вежливость, и мир сдвинется на дюйм в сторону. Сердце у неё при этой мысли делает маленький глупый скачок, и Элиза прячет улыбку в кружке. Идеалистка. Ника говорит, что это диагноз.

— Ты опять где-то не здесь, — замечает мать, откладывая карандаш. — У тебя лицо, как у Эммы Вудхаус, замышляющей чужую свадьбу.

— У меня лицо человека, который не выспался.

— У человека, который не выспался, лицо у твоего отца. А у тебя — мечтательное. — Мать смотрит поверх очков, и в её глазах пляшет та же насмешливая нежность, что и тридцать лет назад на кафедральных заседаниях, если верить семейным преданиям. — Элиза, милая. Я всю жизнь зарабатываю вымышленными мирами и очень их люблю. Но ты проводишь там больше времени, чем в Лондоне, а Лондон, между прочим, в двух шагах и открыт с семи утра.

— В Лондоне толкаются.

— В романах тоже. Просто изящнее.

Отец фыркает в кофе и тут же делает вид, что это кашель.

— Оставь ребёнка, — говорит он. — Романтизм — болезнь возрастная и почтенная. Я сам переболел в двадцать, а рецидивы случаются до сих пор, обычно по средам.

— Сегодня четверг.

— Значит, я запущенный случай.

Элиза смеётся, допивает чай и идёт собираться. В прихожей её встречает вешалка, заваленная шарфами, и зеркало, в котором отражается девушка с рыжеватыми, скверно заколотыми волосами и с чересчур серьёзными для четверга глазами. Она накидывает пальто, проверяет сумку: тетрадь, конспекты, томик Кольриджа, который нужно было вернуть в библиотеку ещё во вторник.

— Лекция о романтизме, — говорит она, заглядывая на кухню. — Профессор Хэлловей обещал, что будет громить Байрона.

— Передай ему, что он не первый и не последний, — отзывается отец. — И что Байрон переживёт нас всех.

Мать снова берётся за карандаш, но успевает поднять голову:

— Зонт.

— Не будет дождя.

— Это Лондон, дорогая.

Элиза берёт зонт, потому что с матерью в вопросах погоды спорить так же бессмысленно, как с текстом, который уже набран в типографии. Дверь захлопывается, на лестнице пахнет пылью и чьим-то завтраком, а снизу тянет прохладой

и бензином.

Улица встречает её ровным утренним гулом. Автобус, велосипед, чей-то смех, стук каблучков по мокрому асфальту. Элиза идёт к остановке, придерживая сумку у бедра, и ловит себя на странном, ничем не оправданном чувстве: будто сегодня в привычную главу кто-то вписал лишнюю строку. Ничего особенного, только лёгкое, щекочущее предвкушение, как перед тем, как перевернуть страницу.

«Начинается», — думает она весело и совершенно не всерьёз, и прибавляет шаг.

* * *

Аудитория номер четыре пахнет мелом, мокрой шерстью и тем особенным холодом, который бывает только в старых корпусах с высокими окнами. Элиза сидит в третьем ряду, у прохода, там, где свет из окна ложится на страницу тетради косой полосой, и слушает, как профессор Хэлловей расхаживает вдоль доски, заложив руки за спину.

— Девятнадцатый век, — говорит он, — придумал нам любовь как испытание. Не удовольствие, заметьте. Не союз двух приятных характеров. Испытание. Герой должен быть неправ, героиня должна быть несправедливо обвинена, и только потом, через унижение, ошибку и долгое молчание, им разрешается сесть за один стол. Вопрос, который я предлагаю вам поддержать в руках до следующего вторника: почему мы до сих пор считаем, что настоящее чувство обязано быть трудным?

Кто-то на задних рядах сдержанно фыркает. Элиза не обращивается. Она пишет, и почерк её становится всё мельче и всё торопливее, как всегда, когда ей кажется, что лектор говорит лично с ней, только вежливо притворяется, будто обращается ко всем.

«Через унижение, ошибку и долгое молчание», — выводит она и подчёркивает дважды.

Ей нравится это до дрожи в пальцах. Она примеряет фразу на себя, как чужое пальто в примерочной, и обнаруживает, что оно почему-то впору. Тёмная комната, чей-то голос, который сначала звучит невыносимо, а потом становится единственным нужным звуком в мире. Элиза знает, что это книжное, заёмное, взятое напрокат у мёртвых авторов, и всё равно у неё теплеет под рёбрами. В двадцать один год ей кажется преступлением соглашаться на меньшее, чем испытание.

Хэлловей заканчивает на том, что Байрон был скверным человеком и великим поэтом, и что второе не извиняет первого, но и первое не отменяет второго. Скрипят стулья. Аудитория выдыхает, шуршит куртками, тянется к дверям.

Ника ждёт её в коридоре у батареи, прижавшись к ней поясницей, с телефоном в одной руке и стаканом кофе в другой. У неё вид человека, который был на лекции физически, но душой провёл этот час в более полезном месте.

— Ну, — говорит она, не отрываясь от экрана. — По лицу вижу. Он опять пообещал тебе большую трагическую лю-

бовь до конца семестра.

— Он говорил о структуре чувства в романе девятнадцатого века.

— То есть да.

Элиза застёгивает сумку и не может удержаться:

— Ника, послушай. «Настоящая любовь начинается там, где заканчивается расчёт». Это почти дословно.

— Это точно не Хэлловей, он женат третий раз.

— Это я.

— Ещё хуже. — Ника наконец поднимает глаза, и в них та самая насмешливая жалость, с которой врачи смотрят на пациентов, отказавшихся от прививки. — Лиз. Ты ждёшь мистера Дарси. Ты ждёшь, что он войдёт, скажет три холодные фразы, а потом спасёт твою репутацию и купит поместье. А получишь ты в лучшем случае парня из приложения, который напишет «привет» с ошибкой и предложит встретиться у метро.

— У метро тоже можно встретить судьбу.

— У метро можно встретить простуду.

Они спускаются по лестнице, и Элиза чувствует, как внутри поднимается знакомое упрямство. Это старый спор, они ведут его с первого курса, и обе давно знают роли наизусть, но почему-то каждый раз всерьёз.

— Хорошо, — говорит Элиза. — Возьми Джейн Эйр. Ей предлагали спокойную жизнь, порядочного человека, полезное дело. Она вернулась туда, где всё сгорело, потому что

услышала голос. Не выгоду. Голос.

— И получила слепого мужа с тёмным прошлым и мёртвой женой на чердаке. Прекрасный пример. Продолжай.

— Ты нарочно берёшь только последствия.

— Я всегда беру последствия, дорогая, у меня мать юрист.

— Ника толкает плечом тяжёлую дверь, и в лицо им бьёт сырой ветер с площади, пахнувший выхлопом и жжёным сахаром из фургона с орехами. — Вот что я тебе скажу. В твоих книжках человек ведёт себя ужасно двести страниц, а потом оказывается, что он просто страдал. В жизни человек ведёт себя ужасно двести страниц, а потом оказывается, что он просто ужасный.

Элиза смеётся, потому что это остроумно, и потому что возразить нечем, и потому что в глубине живота у неё всё равно шевелится тихое, неразумное «а вдруг».

— Ты говоришь как женщина, которую предали.

— Я говорю как женщина, которая читала переписку своей соседки. Этого достаточно на всю жизнь.

Они идут через двор, мимо мокрых скамеек и велосипедов, пристёгнутых к ограде. Ника отпивает кофе, морщится, отдаёт стакан Элизе, чтобы поправить шарф, и вдруг говорит совсем другим тоном, без всякой эстрады:

— Ты только не влюбись в первого, кто процитирует тебе что-нибудь наизусть. Ты же купишься. Ты как воробей на крошки.

— Я не настолько...

— Настолько. — Ника забирает стакан обратно. — Просто помни: если мужчина слишком хорошо знает, что тебе нравится, это не всегда потому, что он родственная душа. Иногда потому, что он навёл справки.

Элиза открывает рот, чтобы отшутиться, и почему-то не находит шутки. Ветер бросает ей волосы на лицо, и она заправляет прядь за ухо, глядя на серую арку ворот, за которой начинается улица, машины, город.

— Ты невыносимая циничная особа, — говорит она наконец.

— Я твоя страховка, — отвечает Ника, и берёт её под руку. — Пошли, у тебя ещё семинар. Там тоже будут говорить о любви, но, к счастью, в сослагательном наклонении.

* * *

Колокольчик над дверью у мистера Фенвика звучит не так, как в других магазинах: не звонко, а хрипловато, будто откашливается старик, которого разбудили посреди главы. Элиза каждый раз задерживается на пороге на секунду дольше нужного, чтобы услышать этот звук целиком.

Внутри стоит тот самый воздух, ради которого она сюда и ходит. Пыль, клей, чуть сладковатая ваниль истлевшей бумаги, поверх всего — уголь от старого обогревателя, который мистер Фенвик включает с октября и не выключает до апреля из принципа. Ника однажды сказала, что тут пахнет чердаком, где кто-то умер, и она, наверное, права, но Элиза думает иначе: так пахнет время, если дать ему отстоять-

ся. Она вешает мокрое пальто на крючок у двери, где висит табличка «Не оставляйте зонты, они всё равно теряются», и слушает, как за окном шуршат шины по мокрому асфальту Блумсбери.

— Мисс Морвен, — доносится откуда-то из-за стеллажа с географией. — Я держал её для вас три дня и уже начал ревновать.

Мистер Фенвик выбирается в проход боком, как всегда, потому что проход рассчитан на книги, а не на людей. В руках у него свёрток в коричневой бумаге, перевязанный бечёвкой, и он несёт его так, как носят спящего ребёнка.

— Что это?

— То, о чём вы вздыхали в сентябре. — Он кладёт свёрток на прилавок и подталкивает к ней кончиками пальцев. — Не открывайте сразу. Дайте себе полсекунды удовольствия.

Она не даёт. Бечёвка сползает, бумага раскрывается, и под ней оказывается тёмно-зелёный переплёт, вытертый на углах до серости, с полустёртым золотом на корешке. «Грозовой перевал», издание тысяча восемьсот девяносто третьего года, с гравюрами, которых она никогда не видела вживую.

— Мистер Фенвик.

— Знаю. — Он доволен так, будто сам её и написал. — Форзац подрезан, у титула пятно от чая, но за такую цену вы не найдёте её нигде между Оксфордом и морем. Я запомнил, как вы держали прошлогодний томик. Так не держат книгу, которую собираются просто прочесть.

Элиза открывает наугад, ближе к середине, и бумага под пальцами оказывается толще и мягче современной, почти тканевой. Страницы пахнут сухим деревом. И на левом развороте, бледной карандашной чертой, кем-то давно проведённой под самой строкой, подчёркнуто: «Он всегда, всегда в моих мыслях — не как радость и не как радость для меня самой, а как я сама».

На полях, тем же карандашом, чужая рука вывела одно слово, и слово это почти стёрлось, но Элиза разбирает: «правда».

Она стоит, не поднимая глаз, и чувствует, как в груди медленно и горячо поворачивается что-то, чему нет названия ни в одном конспекте. Кто-то держал эту книгу сто лет назад. Женщина, скорее всего, судя по наклону. Она сидела у окна, может быть, в такой же сырой ноябрь, и остановилась ровно на этой строке, и ей было настолько важно, что она взяла карандаш. И вот эта женщина давно умерла, и её дом, наверное, снесли, и никто уже не помнит её имени, а карандашная черта осталась и дождалась Элизу.

За окном мимо витрины проползает автобус, и его отражение проходит по стеклу, и на секунду тёплая лампа над прилавком отражается в нём, как огонёк в чужом окне.

«А если однажды и со мной», — думает Элиза, и сразу становится немного стыдно, потому что мысль детская, и Ника растерзала бы её на семь частей прямо у прилавка. Но мысль всё равно не уходит. Если однажды в её ровную, раз-

меренную жизнь, где лекции по вторникам и чай с родителями по воскресеньям, войдёт что-то, что нельзя будет ни проанализировать, ни отложить на потом. Что-то, что перевернёт всё вверх дном и не попросит разрешения. Она не знает, хочет ли этого по-настоящему, или ей просто нравится, как это звучит, и именно поэтому мысль такая сладкая и такая неудобная.

— Вы там живы? — спрашивает мистер Фенвик.

— Кто-то подчеркнул строчку, — говорит она, поворачивая книгу к нему. — И написал на полях.

Он смотрит поверх очков, долго, и хмыкает.

— Порченный экземпляр. Сброшу вам четыре фунта.

— Не смейте. Это не порча, это письмо.

— Вот поэтому я и держу для вас книги, а не для тех, кто спрашивает, есть ли у меня что-нибудь зелёное под интерьер. — Он тянется за бумажным пакетом. — В четверг, к слову. Вечер в подвале у Хоббса, читают ранних романтиков, будет вино отвратительное, а публика сносная. Придёте?

Элиза достаёт кошелек и считает мелочь, зная заранее, что до стипендии придётся обедать тостами.

— В котором часу?

— В семь. Приходите раньше, займёте место у камина, иначе опять достанется сквозняк.

— Приду в половине седьмого, — обещает она, прижимая свёрток к груди обеими руками, как прижимают то, что уже стало своим.

Колокольчик снова хрипло откашливается ей вслед.

* * *

В кафе на углу пахнет корицей и мокрой шерстью, потому что все входящие приносят с собой ноябрь на воротниках. Элиза занимает столик у батареи, кладёт бумажный свёрток на подоконник, рядом с чахлым цикламеном, и греет ладони о чашку раньше, чем успевает снять пальто.

Ника появляется через четверть часа, роняет на стул рюкзак и садится с видом человека, вернувшегося из долгого и бессмысленного похода.

— Не спрашивай.

— Я и не спрашивала.

— Ты сделала лицо. Это хуже, чем спросить.

Элиза подвигает ей вторую чашку, которую заказала заранее, потому что Ника опаздывает всегда и всегда пьёт чай с молоком, обжигаясь и жалуясь на это.

— В четверг вечер у Хоббса, — говорит она. — Читают ранних романтиков. Фенвик обещает отвратительное вино.

— Это единственная часть, которая звучит правдоподобно.

— Приходи. Там будет камин.

— Там будет подвал, в котором стоит камин, — уточняет Ника, но по тому, как она разматывает шарф, Элиза понимает: придёт. Ника ходит на все эти вечера с лицом человека, который сопровождает подругу в опасный район, и потом две недели цитирует запомнившиеся строчки, притворяясь,

что запомнила их случайно.

— Так что было вчера?

— Ага, всё-таки спросила. — Ника дует на чай. — Его зовут Кристиан, он пишет приложение. Не программирует, а именно пишет, он так и сказал, будто речь о романе. Мы сорок минут говорили о его приложении. Потом я спросила, читал ли он что-нибудь в этом году, и он ответил, что у него на это нет времени, зато он слушает подкаст, где книги пересказывают за двенадцать минут.

— Какие книги?

— Не уточняла. Боялась узнать. — Ника ставит чашку. — А в конце он предложил разделить счёт, что абсолютно нормально, я сама за, но он достал телефон и считал вслух, до пенса, и сказал: «С тебя одиннадцать шестьдесят, я округлю, я же джентльмен».

Элиза смеётся, прижав пальцы к губам, и от этого смеха внутри становится хорошо и легко, как бывает только с человеком, который знает тебя с первого курса.

— Округлил в чью сторону?

— В свою, разумеется. — Ника разводит руками. — Вот они, современные мужчины. Ни одного письма, ни одной дуэли, зато калькулятор всегда под рукой. И ведь он неплохой, Лиз. Он вежливый, он вымыл голову, он даже проводил меня до автобуса. Просто с ним всё понятно на второй минуте, и оставшиеся полтора часа ты сидишь и думаешь, чем занять лицо.

— Может быть, ему тоже было нечем занять лицо.

— Безусловно. Мы оба страдали, это была почти близость.

Официантка приносит булочку, разрезанную пополам, и они делят её, как делили все четыре года, не спрашивая.

— Ты же понимаешь, — говорит Ника, отряхивая пальцы, — что тебе с этим жить ещё лет сорок. Все Кристианы мира ждут тебя. А ты сидишь над своими подчёркнутыми строчками и ждёшь чего-то, чего не бывает.

Элиза долго крутит чашку на блюде. За окном фонарь загорается раньше, чем темнеет по-настоящему, и от этого улица кажется декорацией, которую ещё не успели обжить.

— Я не жду чего-то, — говорит она наконец. — Я просто не хочу соглашаться на меньшее только потому, что меньшего больше. Понимаешь? У Бронте есть эта мысль, что нельзя любить наполовину, что душа обращается к душе, а не к обстоятельствам. И мне кажется, если один раз согласиться на одиннадцать шестьдесят, потом всю жизнь будешь округлять в свою сторону.

— Это звучит красиво и ничего не значит.

— Это значит, что я лучше буду одна с книгой, чем вдвоём с человеком, при котором мне нечем занять лицо.

Ника смотрит на неё поверх чашки, и во взгляде её нет привычной иронии, а есть что-то почти нежное и оттого неприятное.

— Лиз. Я говорю это не чтобы тебя задеть. Ты читаешь про любовь, как про погоду в другой стране. А потом одна-

жды жизнь схватит тебя за локоть посреди улицы, и книги не подскажут ни строчки. Они вообще ничего не подскажут, когда будет страшно.

В кафе шипит кофемашина, кто-то смеётся у стойки, и Элиза с внезапной ясностью чувствует, как тепло батареи жжёт ей бок сквозь свитер.

— Тогда я умру начитанной, — говорит она. — Мистер Фенвик обещал сбросить четыре фунта, так что смерть будет ещё и экономной.

— Ненавижу тебя.

— Ты придёшь в четверг?

— Приду, — вздыхает Ника. — Займи мне место подальше от камина, я в прошлый раз чуть не сварилась.

Они выходят вместе, и Ника уже рассказывает что-то про семинар по Джойсу, и Элиза кивает и смеётся в нужных местах, но где-то под этим смехом, тихо и упрямо, как заноза под ногтем, сидит одна фраза: схватит за локоть посреди улицы. Глупости, конечно. Ника любит драматические формулировки не меньше, чем над ними издевается.

Элиза перехватывает свёрток поудобнее и идёт к переходу, и почему-то, дойдя до края тротуара, оглядывается на поток машин.

* * *

Платье висит на дверце шкафа с утра, и весь день Элиза знала, что вечером будет стоять перед ним и сомневаться.

Оно тёмно-зелёное, с высоким воротом и рукавами до

локтя, купленное два года назад на распродаже в узком магазинчике, где пахло камфорой и чужой историей. Она надевает его и поворачивается к зеркалу, которое стоит в углу комнаты, прислонённое к стене и подпёртое стопкой книг по немецкому романтизму, потому что повесить его как следует никто в этом доме так и не собрался. Зеркало отражает её чуть косо, вытягивая, и от этого она кажется себе выше и как будто решительнее.

— Ты похожа на портрет, который забыли подписать, — говорит она отражению и тут же краснеет, потому что вслух это звучит совсем не так, как в голове.

Волосы она закалывает, потом расшпиливает, потом закалывает снова, уже иначе, и решает, что так лучше, хотя разница, если честно, заметна только ей. На туалетном столике, среди карандашей и чужих конспектов, лежит мамина брошь с зелёным камнем, и Элиза примеряет её к вороту, наклоняя голову, взвешивая. Слишком нарядно. Слишком похоже на попытку. В книгах героини всегда одеваются либо небрежно и божественно, либо тщательно и напрасно, и она никак не может решить, какая из этих частей её.

В коридоре пахнет тушёной морковью и старой бумагой, двумя запахами, которые для неё навсегда означают дом. Отец сидит в кресле у торшера, положив на колени раскрытую книгу корешком вверх, чего сам же не разрешает делать никому в семье, и поверх очков разглядывает дочь с видом человека, оценивающего редкое издание.

— Итак, — говорит он. — Куда мы идём в зелёном?

— Литературный вечер, папа. Я говорила во вторник. Будет женщина, которая перевела письма Китса, и, кажется, вино в пластиковых стаканчиках.

— Письма Китса и пластиковые стаканчики. Вот тебе весь наш век в одной строке. — Он снимает очки и трёт переносицу. — Ну что ж. Иди и встреть там своего мистера Дарси. Только уточни сразу, сколько у него в год и не сгорело ли поместье, я в твоём возрасте пренебрёг этим вопросом и до сих пор пишу рецензии по выходным.

— Ты женился на маме, — напоминает Элиза.

— Именно об этом я и говорю. Убыточнейшая сделка моей жизни, и я не променял бы её ни на что.

Из кухни доносится звяканье, мать появляется в дверях с полотенцем в руках и смотрит на дочь долгим взглядом, в котором гордость перемешана с чем-то похожим на усталость.

— Не поощряй её, — говорит она отцу. — Она и без тебя живёт в девятнадцатом веке и платит за это наличными.

— Мама.

— Я ничего не говорю, милая. Платье прекрасное. — Мать подходит, поправляет ей воротник, разглаживает большим пальцем складку у плеча, и прикосновение это тёплое и сухое. — Просто не смотри на людей так, будто ждёшь от них монолога. Они пугаются.

— Я не жду монолога.

— Ты ждёшь. Ты всегда ждёшь. — Она вздыхает так, как вздыхают над студенческой работой, где всё правильно и всё мимо. — Возвращайся не позже одиннадцати. И возьми зонт, обещали к ночи.

Элиза целует её в щёку, пахнущую кремом и морковью, и уходит к себе, унося в груди тёплую досаду, которая всегда остаётся после таких разговоров: её любят и не понимают, причём одинаково искренне.

Вечер она проводит дома, потому что до четверга ещё день, а платье она примеряла просто так, заранее, из того же упрямого суеверия, по какому дети проверяют дорогу до школы накануне первого сентября. Переодевшись, она садится в постель, подтягивает колени и раскрывает книгу на странице, которую можно найти на ощупь, по мягкости бумаги. Карандашная черта тянется вдоль полей ещё со второго курса: «Я не птица, и никакие сети не удержат меня; я свободное человеческое существо, с независимой волей». Она читает это медленно, как молитву на незнакомом языке, которую знаешь наизусть по звуку.

Ника сказала бы, что это литература, а не жизнь. Но ведь кто-то это написал, думает Элиза, кто-то в сыром йоркширском доме, с холодными пальцами, знал такое чувство настолько точно, что оно дошло сюда, через полтора века и два поколения профессоров, и попало ей прямо под рёбра. Значит, оно бывает. Значит, где-то в этом городе есть человек, при котором ей не придётся притворяться проще, чем она

есть.

Она откладывает книгу и подходит к окну. Лондон внизу шумит приглушённо, словно через стену: мокрый асфальт держит на себе двойной свет фонарей и витрин, автобус выдыхает на остановке, у перехода мигает зелёный. Машины идут плотным ровным потоком, и одна из них, длинная и чёрная, с тонированными стёклами, проплывает по дальней полосе и уходит за угол, ничем не отличаясь от сотни таких же. Элиза провожает её взглядом ровно столько, сколько нужно, чтобы забыть.

Стекло холодит лоб. Где-то там, в этих огнях, прямо сейчас живут тысячи историй, и все они начались без её ведома.

— Пусть завтра что-нибудь случится, — шепчет она, и тут же становится неловко, потому что желание выходит совсем детским, почти как перед задутой свечкой. — Что-нибудь настоящее. Пожалуйста.

Занавеска падает. За окном по-прежнему шумит город, равнодушный и щедрый, и обещать он ничего не умеет.

Глава 2 Взгляд из машины

Планшет лежит на колене, и цифры на нём выстроены столбцами, ровными, как люди на построении. Люциан ведёт по ним пальцем сверху вниз, не читая слов, читая только отклонения. Цифра, которая ведёт себя не так, как обещала вчера, видна сразу, как чужак в знакомом зале.

За стеклом Лондон стоит в сером утре, умытый ночным дождём, и стекает мимо машины бесконечной лентой: витрины, строительные леса, автобус с рекламой мюзикла, женщина в жёлтом плаще, которая бежит через дорогу, прижимая к груди картонный стакан. Салон пахнет кожей и кофе, который никто не пьёт. Водитель молчит, как его учили, и держит вторую полосу.

— «Аврора», вторая неделя, — говорит Люциан, не поднимая глаз.

Дино сидит вполоборота на переднем сиденье, положив локоть на подголовник. Пальцы у него в синих чернилах от первой фаланги до костяшек, и, когда он листает свою книжечку, буквы на них складываются и расходятся.

— Клуб дал сто девяносто две за выходные. Пятницу выжали до упора, суббота просела: у Финчли перекрыли улицу, часть людей не доехала. Бар в плюсе, гардероб в плюсе. Вип — сто двенадцать столов из ста двадцати.

— Восемь пустых.

— Восемь. — Дино чуть улыбается уголком рта, белокожий, слишком красивый для этой работы, и от этого ему всё сходит с рук. — Люциан, восемь столов в дождь — это не убыток, это погода.

— Погода бывает у фермеров. У нас бывает работа. — Люциан пролистывает вниз. — Дальше.

Улыбка гаснет, и Дино переходит на тон, который Люциан любит больше: сухой, без прикрас.

— Проблема на Уоппинге. Прачечная и две точки при ней. Там новый человек в бухгалтерии, ставит вопросы. Не из полиции, просто аккуратный. За три недели трижды переспросил про наличные из автоматов и один раз написал служебную записку самому себе.

— Кто его взял?

— Молдер. Он говорит, парень чистый, просто дотошный, он не знал, что...

— Мне не нужно, что говорит Молдер. — Люциан наконец поднимает глаза, и Дино замолкает на середине слова, как выключенный. — Дотошный человек в прачечной — это дыра. Дыру не объясняют. Дыру закрывают. Сегодня его переводят на белую контору в Кройдоне, с прибавкой, с кабинетом и окном. Пусть будет счастлив и далеко. Бумаги за три недели — уничтожить, записку найти. Молдер больше ничего не нанимает.

— Понял.

— И цифры по Уоппингу мне нужны не в среду. Мне нуж-

ны к обеду. Настоящие, не причёсанные.

Дино записывает, и чернила на его пальцах движутся вместе с ручкой.

Машина притормаживает у светофора. По зебре идёт поток: капюшоны, рюкзаки, велосипед, которого катят за руль. Люциан смотрит сквозь них, как смотрят на воду. Люди всегда кажутся ему одинаковыми в массе и предсказуемыми поодиночке, и это удобно, потому что с предсказуемыми не бывает сюрпризов.

— Есть ещё одно, — говорит Дино осторожно, и по этой осторожности всё уже понятно. — Кроу.

— Что на этот раз.

— Его люди второй раз за неделю заходили к Хасану на Кэмден-роуд. Предлагали «партнёрство». Намекали, что улица меняет хозяина и что было бы разумно не ждать, пока это случится само.

Люциан возвращается к планшету. На экране казино «Астория», четверг, разница в сорок две тысячи между кассой и ведомостью, и эта разница интересует его в данную минуту куда больше, чем чужие намёки.

— Хасан платит?

— Платит. Он и позвонил.

— Значит, Хасан умнее людей Кроу. — Люциан отмечает строку, ставит пометку. — Дамиан всегда начинает с разговоров. Он думает, что если долго говорить, территория поверит, что уже его. Пусть говорит. Приставь к Кэмден-роуд

две машины на ночь. Тихо. Никого не трогать, пока они первыми не тронут.

— А если тронут?

— Тогда мне не понадобится их фамилия.

Дино кивает и не спорит. Он вообще редко спорит и никогда не боится — из всех, кто ходит рядом, он единственный, кто умеет молчать не от страха, а по выбору, и уже поэтому стоит остальных, вместе взятых.

Отец говорил: враг, который сначала болтает, — дешёвый враг. Отец говорил много такого, коротко и всегда перед тем, как сделать больно. Люциан гасит мысль так же быстро, как она пришла, привычным движением, каким тушат окурок о край пепельницы. Прошное — плохой советчик и ещё худший собеседник.

— «Астория», четверг, — говорит он. — Сорок две тысячи не там, где им положено быть.

— Смена Гарета.

— Пусть Гарет объяснит. Один раз. Если объяснение будет длинным, объяснение мне не нужно.

Свет меняется. Внедорожник мягко трогается и вливается в поток, который уже уплотнился к девяти, и город начинает тянуть их на северо-запад, туда, где улицы становятся уже, а дома — краснокирпичными и солидными. Впереди уже виден сквер, за ним — университетский квартал, ворота, стриженная трава и люди, которые несут книги так, будто в книгах что-то есть.

Встреча через двенадцать минут. Партнёр опоздает, потому что опаздывает всегда, и это будет стоить ему процента.

Люциан гасит экран, кладёт планшет рядом и смотрит в окно на чужое ровное утро, не ожидая от него ничего.

* * *

Дино листает что-то в телефоне, и по тому, как он медлит, Люциан понимает: осталось неприятное. Неприятное Дино всегда оставляет на конец, будто надеется, что дорога кончится раньше.

— Мерсер, — говорит он наконец. — Сто двенадцать тысяч, третий месяц. Вчера сказал моим, что денег нет и не будет до весны.

— Что у него есть.

— Дом в Финчли, заложен дважды. Машина в лизинге. — Дино поднимает глаза. — И двое детей. Мальчик и девочка, школа на Чёрч-лейн, забирает их сам, без четверти четыре. Люди Кроу в такой ситуации просто встали бы у школьных ворот и постояли там минут десять. Молча. Мерсер нашёл бы деньги к вечеру.

Он произносит это ровно, как произносят курс валюты. И он прав: так и делается, так делали всегда, и половина долгов в этом городе возвращается не из страха за себя, а из страха за тех, кого забирают без четверти четыре.

Квартира на четвёртом этаже, без лифта. Кухня, где линолеум вздувался у плиты пузырём, и этот пузырь можно было продавить большим пальцем ноги, если сидеть тихо и не

шевелить остальным телом. Голос отца сквозь стену, сначала смех, потом не смех. Запах дешёвого виски, сладковатый, с привкусом жжёного сахара, которым к утру пропитывались занавески, подушка, воротник школьной рубашки, так что в классе учительница отводила глаза и говорила с ним чуть мягче, чем с остальными, и вот эта мягкость была хуже всего. Мать, которая стоит в коридоре и не входит. Она никогда не входила. Люди вообще редко входят, они предпочитают стоять в коридоре и ждать, когда всё закончится само.

Челюсть сжимается сама, раньше мысли, и он чувствует, как коротко ноет мышца под скулой. Три секунды. Он отворачивается к окну и смотрит на проплывающий мимо ряд краснокирпичных фасадов, на женщину с коляской, на строительные леса в зелёной сетке, и к четвёртой секунде внутри снова ничего нет, только ровная холодная плоскость, по которой удобно раскладывать цифры. Этому жесту двадцать лет. Он работает безотказно, как хорошо смазанный затвор.

Чувства — дорогая вещь. Их может позволить себе человек, у которого есть запас прочности, кто-то за спиной, куда отступить. У него нет ничего из этого и не было никогда, и всё, что у него есть, держится ровно до тех пор, пока он ничего не чувствует в неподходящую минуту. Слабость не убивает сразу. Она просто однажды становится известна кому-то ещё, и уже этот кто-то решает, когда.

— К школе никто не подходит, — говорит Люциан, не отрывая взгляда от стекла. — Ни мои, ни чужие. Если увижу

своего человека на Чёрч-лейн, он будет искать работу в другом городе.

Дино молчит секунду дольше обычного.

— Принято. Тогда как?

— У Мерсера партнёр в Кройдоне. Склад, три фургона, счёт, который он держит отдельно от жены и от налоговой. Пусть Гарет поднимет бумаги, у него есть выход на бухгалтерию. Если счёт существует, Мерсер найдёт деньги к пятнице сам. — Он поворачивает голову. — Ему не нужно объяснять почему. Пусть догадается. Догадка работает лучше угрозы, она бесплатная и не оставляет следов.

— А если он всё-таки не заплатит?

— Тогда он потеряет склад, фургоны и партнёра. И это будет его выбор, а не мой.

Дино кивает и делает пометку. Татуированные пальцы ходят по экрану быстро, буквы на фалангах смазываются в чёрные чёрточки. Он не спрашивает, почему школа под запретом, и не спросит никогда, и в этом его главная ценность: он умеет принимать чужие границы, не выясняя, из чего они сделаны.

Внедорожник притормаживает, пропуская автобус. Стекло отражает лицо Люциана поверх улицы, и лицо это ему нравится: ничего лишнего, ничего живого, аккуратно закрытая дверь.

— Дальше, — говорит он.

— «Вельвет», пятница. Управляющий просит двух допол-

нительных на вход, ждут больше народу, чем обычно.

— Пусть берёт четырёх. И передай: если в моём клубе кто-то опять начнёт торговать с рук в туалете, я сначала уволю управляющего, а разбираться буду потом. Порядок в помещении — его работа, не полиции.

— Он скажет, что четверо — это перерасход.

— Он скажет это тебе. Мне он скажет «да».

Дино усмехается уголком рта и убирает телефон. За окном тянется сквер, мокрая после ночного дождя трава, чугунная ограда, за ней уже виден бледный фасад университетского корпуса с рядом одинаковых окон. Поток впереди загустевает, машины идут короткими рывками, и до встречи остаётся девять минут, из которых партнёр опоздает минимум на двенадцать.

Люциан откидывается на спинку и кладёт руку на кожаный подлокотник. Мышца под скулой давно отпустила, запах жжёного сахара выветрился из памяти так же быстро, как появился, и утро снова становится просто утром: серым, деловым, ровным, без единой лишней детали, на которой можно было бы задержаться взглядом.

* * *

Светофор у главных ворот держит поток дольше, чем любой другой на этой улице, и Люциан знает это, потому что знает город так, как знают собственную квартиру в темноте: где порог, где угол стола, где можно ударить себе колено. Внедорожник встаёт третьим от стоп-линии. Водитель Сэм

убирает руки с руля и кладёт их на колени, как учили, и это единственное движение в машине за последние полминуты.

Толпа переходит дорогу неровными волнами. Рюкзаки, бумажные стаканы, кто-то тащит под мышкой стопку распечаток, придерживая её подбородком. Девушка в жёлтом дождевике смеётся, запрокинув голову, и смех не долетает сквозь стекло, остаётся снаружи немым спазмом лица. Парень идёт спиной вперёд, объясняя что-то приятелям, и ни разу не оборачивается посмотреть, что у него за спиной.

Люциан смотрит на этого парня чуть дольше, чем нужно.

Вот что бросается в глаза первым в таких местах. Никто не проверяет спину. Никто не считает выходы, не смотрит, кто повторяется в поле зрения второй раз за утро, не держит между собой и проезжей частью хотя бы метр запаса. Они идут по миру, который заранее обещал им, что будет безопасным, и держит обещание достаточно долго, чтобы они успели в него поверить. Стаканы с кофе, влажные волосы, распечатки, чья-то яркая нитка на запястье. У них есть роскошь быть невнимательными.

В девять лет он умел определять по звуку шагов на лестнице, стоит ли выходить из комнаты. Это не воспоминание, это навык, такой же бытовой, как умение завязывать шнурки, и он никогда не задумывался, много ли за него отдал. Сейчас, глядя на парня, идущего спиной вперёд по мокрому асфальту, он думает об этом ровно секунду и отмечает про себя с холодным удовлетворением: плата была честная. Тот,

кто смотрит за спину, доживает. Тот, кто смеётся, запрокинув голову, доживает только потому, что кто-то вроде него держит улицу в порядке.

Презрение выходит вялым, почти вежливым. На настоящее презрение эти люди не тянут.

— Партнёр подтвердил, — говорит Дино, не поднимая глаз от телефона. — Пишет, что будет ровно в десять.

— Не будет.

— Он написал «ровно».

Люциан не отвечает. Мужчины, которые пишут «ровно», опаздывают дольше всех, потому что тратят время на то, чтобы выглядеть пунктуальными; он видел это столько раз, что перестало быть наблюдением и стало правилом. За окном очередная волна студентов сходит с тротуара, и светофор всё ещё держит красный.

— Если задержится больше пятнадцати, я перенесу на вечер, — добавляет Дино. — В восемь у вас всё равно свободно.

— Не переноси.

— Ждать будем?

— Он будет ждать. Мы просто приедем позже.

Дино коротко усмехается и что-то печатает. Свет с улицы ложится ему на руку, на белую кожу пальцев с синими буквами по фалангам, и буквы эти в сером утреннем освещении выглядят как чернильные пятна, которые не отмылись. Он высокий, и в салоне ему всегда тесновато; плечом почти ка-

саётся стойки, зелёные глаза скользят по экрану быстро, без выражения. Хороший человек в том единственном смысле, который Люциану интересен: делает и молчит.

Разговор кончается сам собой, без усилий с обеих сторон. В машине пахнет кожей и слабо — мятой из открытого пакетика в дверной нише. Дворники не работают, дождя нет уже час, но на стекле остались засохшие точки, и сквозь них улица кажется чуть зернистой, будто плохо напечатанной.

Люциан ведёт взглядом по тротуару, как ведут по строке. Это не внимание, это привычка. Считывать лица так же машинально, как дышать: кто стоит без дела, кто смотрит на машину, кто держит руку в кармане дольше, чем нужно, чтобы достать телефон. Мужчина в синей ветровке у ограды — курит, повёрнут вполоборота к воротам, стоит здесь, судя по длине окурков под ногами, минут десять. Не интерес, просто поставлен на учёт. Двое в спортивных куртках у автобусной остановки, лица знакомого типа, не знакомые. Женщина с коляской. Велосипедист, протискивающийся между рядами.

Ничего. Пустой фон, обычный вторник, обычная улица у обычного университета, куда он не имеет никакого отношения и иметь не хочет.

Светофор мигает, но поток впереди не двигается: кто-то не проехал перекрёсток, и всё встало заново. Сэм вздыхает почти беззвучно. Дино убирает телефон в карман пиджака и смотрит прямо перед собой.

— Двенадцать минут, — говорит он.

— Угу.

Люциан откидывает голову на подголовник. Скука имеет собственную температуру, чуть ниже комнатной, и он в ней вполне сносно себя чувствует; половина его работы состоит из ожидания в машинах, приёмных и полутёмных залах, где никто не начинает первым. Он снова поворачивается к окну без всякой цели, просто потому что окно — единственное, на что здесь можно смотреть.

Толпа на переходе редет. Остаются те, кто не спешит, и его взгляд, привыкший отмечать отклонения, идёт по ним медленнее, уже почти ни за что не цепляясь.

Почти.

* * *

Она появляется из потока так, как появляется опечатка в чисто набранной странице: сначала глаз просто спотыкается, а потом уже понимает, обо что.

Зелёный шарф. Не яркий, старый, шерстяной, обмотан дважды и болтается концом ниже бедра. Тёмные волосы собраны наспех, одна прядь выбилась и лезет в лицо, и девушка её не поправляет, потому что обе руки заняты: книга, прижатая к груди, как прижимают ребёнка или краденое. Идёт медленнее всех. Толпа обтекает её с двух сторон, раздражённо, и ей всё равно.

Люциан смотрит на неё дольше, чем на мужчину в синей ветровке, дольше, чем на кого бы то ни было сегодня, и в этом нет ни одной причины, которую он мог бы назвать

вслух.

Она не в его вкусе. У него вообще нет вкуса в этом смысле, есть набор требований: молчаливые, взрослые, понимающие условия. Эта — студентка, ровно та порода, которую он презирует заранее, потому что знает, из чего она сделана. из тёплых кухонь, книжек с картинками и уверенности, что мир в целом устроен справедливо. Он мог бы разобрать её жизнь по деталям за пятнадцать секунд, и в этом не было бы никакого интереса.

И всё же он не отводит взгляд.

Она останавливается у бордюра. Поднимает голову, потому что кто-то сзади нажимает на клаксон, и её лицо разворачивается прямо к его окну.

Между ними метра четыре мокрого асфальта и тонированное стекло, сквозь которое снаружи не видно ничего, кроме собственного отражения и серого неба. Он знает это лучше, чем кто-либо: он за это стекло платил. Она смотрит не на него, она смотрит на тёмный прямоугольник, в котором отражается улица, ограда университета и, наверное, она сама.

Но её глаза находят его. Точно, без поиска, как будто ей кто-то заранее сказал, где именно он сидит.

Светло-серые. Или светло-зелёные, из-за шарфа не разобрать. И в них нет ни испуга, ни любопытства к дорогой машине, ничего из того, что он обычно читает на лицах. Есть что-то другое, спокойное и слишком открытое, будто человек смотрит не на автомобиль, а в окно поезда, вспоминая

начало какой-то фразы.

Она не отводит взгляд. Секунду. Две.

В салоне работает климат, ровный, стерильный, и Люциан вдруг обнаруживает, что не дышит. Не задержал дыхание намеренно, а просто перестал, как перестают в момент, когда за спиной щёлкает предохранитель. Грудная клетка стоит. В горле сухо. Где-то под рёбрами что-то делает один тяжёлый оборот и замирает.

Это длится дольше, чем должно длиться. Он видел, как человек умирает за меньшее время, и знает цену секундам с точностью до дрожи в руке; здесь секунды растягиваются, провисают, и он ничего не может с ними сделать.

Злость приходит следом, мгновенно, чистая и привычная, как вкус металла.

Что за дрянь.

Он не теряет дыхания. Ни от женщин, ни от оружия, ни от людей, которые садятся напротив с намерением его убить. Он выстроил себя так специально, кирпич за кирпичом, начиная с того возраста, когда другие дети боятся темноты, а он боялся звука отцовских шагов в коридоре и научился не показывать этого никогда. Тело, которое реагирует само, без разрешения, — это тело, которое рано или поздно подведёт. Тело, которое цепляется за чужое лицо в толпе, — это уже не его тело.

Девушка чуть наклоняет голову набок. Губы у неё двигаются, едва заметно, беззвучно: она то ли повторяет что-то

про себя, то ли договаривает мысль, застрявшую со вчерашнего дня. Ветер поднимает конец зелёного шарфа и кладёт ей на плечо.

— Пошли, — говорит Сэм спереди.

Поток трогается.

Внедорожник катится вперёд мягко, без рывка, и это хуже всего: было бы честнее, если бы дёрнуло. Стекло уносит её лицо влево, край рамы съедает сначала глаза, потом книгу, потом шарф. Четыре метра становятся шестью, восемью, двенадцатью.

Люциан оборачивается.

Он делает это раньше, чем успевает себе запретить, всем корпусом, натягивая ремень, и смотрит в заднее стекло, как смотрят на то, что уносит вода. Она уже шагнула на переход. Тёмное пятно волос, зелёная полоса, книга, прижатая к груди. Толпа сходится над ней, разлепляется, снова сходится. Ещё видно. Ещё видно. Между двумя чужими плечами мелькает шерстяной хвост шарфа, и всё.

Внутри — не мысль, а что-то короче и грубее мысли. Нежелание отпускать. Тупое, ровное, животное, как у собаки, у которой из-под морды тянут кость, и оно не спрашивает, зачем ему эта кость.

Он разворачивается обратно. Садится прямо. Кладёт ладони на колени и чувствует, как в правой всё ещё частит пульс.

Дино смотрит в лобовое стекло, но пауза, которую он дер-

жит, слишком аккуратная.

— Что-то увидел? — спрашивает он ровно.

— Нет.

Дино кивает и больше ничего не говорит. Это его главное достоинство и сейчас оно почему-то раздражает отдельно.

Машина выходит на свободную полосу, стрелка спидометра ползёт вправо, университетская ограда смазывается в длинную чугунную линию. Люциан смотрит перед собой и видит перед собой не дорогу, а серые глаза, которые не могли его видеть и всё-таки нашли.

Он знает, что это ничего не значит. Он знает это очень хорошо, и от того, насколько тщательно он это знает, тревога делается только отчётливее.

* * *

Планшет лежит у него на колене, как лежал последние двадцать минут, и экран уже второй раз гаснет сам. Люциан проводит большим пальцем по стеклу, и таблица возвращается: три колонки, четыре площадки, оборот за неделю по «Гальяно», по «Мэйфэйр-руму», по двум клубам в Шордиче, которые приносят меньше, чем стоят, и держатся только потому, что через них удобно проводить наличные. Цифры он читает быстрее, чем текст, всю жизнь читал; для него это единственный язык, который никогда не врёт. Сейчас строки стоят на месте, но не складываются. Он доходит до конца столбца и понимает, что не помнит начала.

Читает заново. Двести восемьдесят четыре тысячи. Хоро-

шо. Что хорошо? Он не знает, что именно проверял.

Палец соскальзывает, таблица уезжает вбок, и в этот момент под веками снова встаёт то, чего там быть не должно: чуть склонённая голова, губы, шевелящиеся беззвучно, конец зелёного шарфа, легший на плечо от ветра. Ясно до неприличия. Он не запоминает лиц так. Он запоминает руки: где они, что в них, не тянутся ли под пиджак. Лица ему не нужны.

Люциан блокирует экран и кладёт планшет обложкой вниз, экраном к коже колена, будто тот в чём-то виноват.

Дино на переднем сиденье поворачивает голову ровно настолько, чтобы это не считалось взглядом.

— По «Мэйфэйру» есть вопрос, — говорит он. — Управляющий второй месяц округляет не туда.

— Знаю.

— Ты просил напомнить в машине.

— Я помню, что я просил.

Пауза выходит на полсекунды длиннее нормы. Дино кивает своему отражению в лобовом стекле и молчит, и в этом молчании есть та самая деликатность, которой Люциан его сам и выучил: не спрашивай босса о том, чего он не сказал. Сейчас это не помогает. Дино знает его двенадцать лет, у него на пальцах выбито больше правды, чем у большинства людей в биографиях, и он прекрасно слышит, когда Люциан отвечает на тон, а не на слова.

— Ничего, — говорит Люциан, хотя вопроса не было.

— Я и не спрашивал, — отвечает Дино и смотрит вперёд.

Встреча занимает сорок минут. Кабинет на четвёртом этаже над Тэмз-стрит, кофе, который никто не пьёт, человек по фамилии Рейкс, который приехал торговаться и привёз с собой двух юристов для смелости. Люциан слушает половину, отвечает на четверть. Обычно он даёт таким наговориться: в чужих словах всегда больше информации, чем в чужих цифрах. Сегодня он перебивает на второй минуте, называет сумму, называет срок и говорит, что второго разговора не будет. Рейкс бледнеет и соглашается быстрее, чем стоило бы соглашаться, и Люциан понимает, что продешевил самого себя, потому что испугать человека дешевле, чем убедить, и куда менее полезно в перспективе года.

В лифте он смотрит на своё отражение в полированной стали и не находит в нём ничего нового. Тот же костюм, то же лицо, которое не выдаёт ни усталости, ни интереса.

Он всегда берёт то, что хочет. Это даже не гордость, просто устройство жизни, как расписание поездов. Хочешь площадку — покупаешь или забираешь. Хочешь человека на своей стороне — находишь, чем он держится, и берёшься за это. Хочешь женщину — она оказывается рядом к полуночи, и к утру вопрос закрыт, и в этом нет ни драмы, ни продолжения. Желание у него всегда было инструментом, вещью, которой он пользуется, а не которая пользуется им.

А то, что случилось на светофоре, инструментом не было. У этого нет рукояти, за которую можно взять. Это не похо-

же на расчёт, это похоже на голод: тупое, ровное, из живота, требующее не результата, а самого предмета. Он знает это ощущение только с одной стороны, из детства, из тех зим, когда отец пропадал на неделю и в доме оставались чай и половина буханки. Голод не рассуждает. Голод не интересуется, разумно ли хотеть именно этого.

Люциан выходит на улицу, и ветер с реки бьёт в лицо холодом и бензином. Дино открывает дверь машины раньше, чем он подходит.

Слабость. Вот как это называется, и называть надо честно, иначе не вылечишь. Человек, у которого внутри есть что-то, чего он не контролирует, уже наполовину принадлежит любому, кто это заметит. Дамиан Кроу отдал бы два клуба за такую щель. И вот, значит, двадцать лет он строил себя без щелей, а сегодня какая-то девчонка с книжкой у груди простояла на переходе четыре секунды и что-то в нём открыла, даже не заметив.

Он садится, закрывает дверь, и салон отсекает шум.

Решение приходит просто, как всегда приходят правильные решения. Незвестность и есть причина. Он не знает, кто она, и поэтому она остаётся картинкой, а картинка воображению подчиняется, а не наоборот. Значит, нужно имя. Нужен адрес, факультет, фамилия отца, список того, что она читает по вечерам. Живой человек с биографией всегда меньше, чем лицо в толпе; стоит узнать подробности, и всё это рассыплется, как рассыпается любая тайна, если подне-

сти её к свету.

Люциан смотрит в окно на серую реку и чувствует, как пульс в правой ладони наконец-то успокаивается.

Выяснить и закрыть вопрос. Ничего сложного.

Он почти в это верит.

* * *

Машина идёт по набережной на север, и Лондон за стеклом растворяется в раннем осеннем сумраке: витрины, мокрый асфальт, красные полосы задних фонарей, растянутые на воде. Дино ведёт молча, как умеет только он, не заполняя тишину. У него это природное качество, и именно за него Люциан держит его рядом десять лет, дольше, чем держал кого бы то ни было.

На приборной панели мигает телефон. Отчёт из «Мерлина», цифры за неделю, приемлемые. Люциан гасит экран, не дочитав, и это само по себе уже нехорошо, потому что цифры он дочитывает всегда.

— Сегодня утром, — говорит он. — У кампуса.

Дино коротко смотрит в зеркало.

— Пробка на перекрёстке, да. Стояли минуты четыре.

— Девушка на переходе. Тёмные волосы. С книгой.

Пауза выходит на секунду длиннее, чем нужно. Люциан слышит эту секунду так же отчётливо, как слышал бы щелчок предохранителя.

— Там человек двести шло, босс, — осторожно отвечает Дино. — Не скажу, что запомнил.

— Зелёное пальто. Держала книгу у груди, как ребёнка. Смотрела в машину.

Он сам не понимает, зачем произносит эти подробности вслух. Подробности — валюта, ими не разбрасываются. И всё же они выходят из него ровно и точно, будто он всё это время держал их наготове, разложенными по порядку, как инструменты на бархате.

Дино перестраивается в левый ряд, и по тому, как аккуратно он это делает, Люциан видит: тот думает. Думает и не знает, куда девать мысль. За десять лет Дино возил его от женщин и к женщинам, забирал из отелей, отправлял цветы по списку, вычёркивал номера из памяти телефонов. И ни разу за эти десять лет босс не спрашивал у него, заметил ли он кого-то на улице.

— Босс, — наконец произносит Дино, и в зелёных глазах в зеркале стоит тихое, хорошо спрятанное изумление. — Если нужно кого-то пригласить, я найду через администрацию университета. Там есть человек. Сделаем к пятнице.

— Я не сказал «пригласить».

Голос выходит холоднее, чем он рассчитывал. Дино тут же выпрямляется, и татуированные пальцы на руле ложатся ровнее, костяшка к костяшке: чернильные буквы, кресты, цифра, которую он не объяснял никому.

— Найди её, — говорит Люциан. — Имя. Фамилию. Где учится, на каком курсе, у кого снимает или с кем живёт. Родители. Деньги. Долги, если есть. С кем спит, если спит. Что

читает. Куда ходит по вечерам.

— Полный круг, — уточняет Дино.

— Полный. К завтрашнему утру.

— Сделаю. — Он молчит ровно столько, сколько позволено. — Она как-то связана с Кроу?

Вопрос разумный. Вопрос, который сам Люциан задал бы на его месте, и именно поэтому он неприятен, как камешек в ботинке. Потому что честный ответ звучал бы иначе, и честный ответ никого не касается.

— Просто узнай.

Больше он ничего не объясняет. Он никогда ничего не объясняет, и это спасает его сейчас от необходимости придумывать ложь: власть тем и удобна, что избавляет от оправданий. Дино кивает — коротко, по-деловому, вопрос закрыт, вопросов не было. Но в зеркале, прежде чем взгляд уходит на дорогу, остаётся что-то незакрытое, какая-то новая внимательность, которой раньше в этих глазах не было.

Заметил. Ну конечно заметил.

Люциан отворачивается к окну. Машина сворачивает, и на повороте между глухим кирпичным боком склада и строительным забором мелькает та самая улица: ворота кампуса, круглые фонари, жёлтый свет над ступенями, фигуры с рюкзаками, бегущие под начинающимся дождём. Всё это уплывает назад за три секунды и гаснет.

Он давит пальцами переносицу.

Всё будет просто. Завтра к девяти на столе будет папка,

в папке — имя, скучное, как все имена, адрес в каком-нибудь Кэмдене, средний балл, мать, отец, номер студенческого билета, фотография из социальных сетей, где она щурится на солнце и выглядит обыкновенной. Девушка с книгой превратится в набор строчек. Строчки он читает быстро, и от них ничего не остаётся, как не остаётся ничего от человека, чью финансовую историю он изучил за пятнадцать минут. Так он делал всю жизнь: разбирал живое на данные, и живое переставало быть опасным.

Так должно быть.

Только вот пальцы правой руки снова лежат на бедре слишком плотно, и в груди стоит то самое ровное, тупое натяжение, с которым он вышел из здания час назад. Он знает эту породу желаний. Их не гасят информацией. Их гасят только одним способом: берут предмет в руки и держат, пока не перестанет казаться, что он был нужен.

Дождь усиливается, дворники идут в свой монотонный такт, и Люциан думает, что завтра узнает, как её зовут, и что от этого станет только хуже. Он не обманывается насчёт себя дольше минуты подряд — это единственное, чему отец успел научить его как следует.

Он больше не выбросит её из головы. Значит, придётся вынуть её из мира и поставить туда, где он сможет на неё смотреть.

— Дино.

— Босс?

— Работай тихо. Чтоб не дёрнулась.

В зеркале блестят зелёные глаза, и на этот раз в них нет никакого удивления. Только расчёт. Дино прибавляет скорость.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.